

Мари

Месье Леблан стоит, прислонившись к косяку и сложив руки над животиком, выдающим его пристрастие к свиной грудинке. На туго натянувшемся сюртуке недостает одной пуговицы. Маман всплескивает руками — руками прачки, распухшими, в цыпках.

— Но, месье Леблан, мы ведь только что схоронили моего бедного мужа.

— Мадам ван Гётем, две недели уже прошли. Вы сказали тогда, что вам понадобится две недели.

Как только наш отец испустил свой последний вздох, месье Леблан немедленно возник на пороге нашей комнаты, требуя плату за три месяца, которую папа задолжал из-за болезни.

Маман падает на колени и вцепляется в край пальто месье Леблана.

— Вы не можете нас выгнать. У меня три дочери, неужели вы позволите, чтобы они оказались на улице?

— Будьте милосердны, — я встаю на колени рядом с ней.

— Сжальтесь над нами, — говорит Шарлотта, моя младшая сестра, и я невольно морщусь. Она слишком хорошо играет свою роль, а ведь ей нет еще и восьми.

Только Антуанетта, старшая из нас троих, молчит, гордо подняв подбородок. Но она никогда ничего не боится.

Шарлотта хватается ладонь месье Леблана двумя руками, целует ее и прижимается к ней щекой. Он тяжело вздыхает. Кажется, крошка Шарлотта, которую так любят колбасник, часовщик и торговец посудой, только что спасла нас от бродяжничества.

Видя, как смягчается его лицо, маман говорит:

— Возьмите мое кольцо, — и стягивает обручальное кольцо с пальца. Она прижимает его к губам и вкладывает в ладонь месье Леблана. Потом она прижимает руки к груди, чуть повыше сердца. Я не хочу, чтобы он увидел, что именно я думаю о чувствах маман к отцу, и отворачиваюсь. Всякий раз, когда папа упоминал, что он портной и его еще в детстве отдали в учение, маман презрительно замечала, что он всю жизнь шил разве что робы для рабочих с фарфорового завода.

Месье Леблан сжимает в кулаке кольцо.

— Даю вам еще две недели. Потом придется заплатить.

Или же тележка отвезет буфет, подаренный папе перед смертью, стол и три расшатанных стула, оставленные предыдущим жильцом, тюфяки, набитые шерстью на пять су каждый, к старьевщику. В комнате останутся только четыре закопченные стены без следов побелки, а в дверь врежут новый замок. Консьержка, старая мадам Лега, уберет ключ в карман и грустно посмотрит на кругленькие щеки Шарлотты. Из нас троих только Антуанетта была достаточно взрослой, чтобы помнить ночи под грязной лестницей, дни на бульваре Осман, протянутые руки,

пустые, пустые, сколько бы шелковых юбок ни про-
шуршало мимо. Как-то она рассказала мне про те
времена, когда папа продал швейную машинку, чтобы
заплатить за крошечное белое платьице, отделанное
кружевом, за маленький белый гробик с двумя анге-
лочками, дующими в рожки, и за поминальную мессу.

Меня назвали в честь той умершей девочки —
Мари, или Мари Первой, как я ее называю про себя.
Ей еще не исполнилось двух лет, когда она вдруг за-
стыла в своей кроватке, устремив взгляд в никуда.
А потом появилась я, настоящий подарок судьбы,
как говорит маман, и заняла ее место.

— Благослови вас Господь! — кричит Шарлотта
вслед месье Леблану.

Маман тяжело поднимается с колен. Она
еще не старуха, но придавлена тяжестью вдовства,
дочерей, долгов, пустой кладовой. Сует руку в кар-
ман передника, делает глоток из маленького пузырька
с зеленой жидкостью и вытирает губы ладонью.

— У нас неделю не плачено за молоко, а на это
денег хватает? — с вызовом спрашивает Антуанетта.

— Помолчала бы! Я от тебя уже целый месяц ни су
не видела. Торчишь в Опере целыми днями, а тебе
ведь уже семнадцать. Могла бы и работать пойти.

Антуанетта плотно сжимает губы и свысока смо-
трит на маман, которая не унимается.

— За эти хождения по сцене тебе платят жалких
два франка, и то если костюм, который не пожалела
кастелянша, подойдет. А для прачки ты, видишь ли,
слишком высокая и сильная. Не будет из тебя толку,
вот что.

— Ну так яблочко от яблони недалеко падает. — Антуанетта прижимает к губам воображаемую бутылку.

Маман чуть-чуть приподнимает склянку с абсентом и вставляет пробку на место.

— Завтра отведешь сестер в балетную школу при Опере, — говорит она Антуанетте, и глаза Шарлотты загораются. По три раза на дню она твердит, что Парижская опера — лучший театр в мире.

Иногда Антуанетта показывает нам с Шарлоттой па, которым она научилась в балетной школе при Опере, пока ей не велели больше там не показываться, и мы стоим, сведя пятки, развернув носки, сгибая колени.

— Колени над носком, — говорит Антуанетта. — Это плие.

— А еще что? — обычно это спрашивает Шарлотта, но иногда и я. Вечера длинные и скучные, и зимой парочка плие при свете свечи помогает согреться, прежде чем свернуться на тюфяке.

Антуанетта раз за разом учила нас делать батман тандю, рон-де-жамб, гран-батман. Наклонялась, поправляя вытянутую ступню Шарлотты.

— Какие ножки, — говорила она. — Ножки балерины.

Чаще всего она поправляла именно Шарлотту. Однажды маман завела разговор, что мне пора уже самой зарабатывать себе на жизнь, что даже девочкам в балетной школе платят семьдесят франков каждый месяц, но папа стукнул кулаком по стулу.

— Хватит, — заявил он. — Мари останется в школе сестры Евангелины, ее место там.

Позже, наедине, он шепнул мне, что я умная, что у меня способности к учебе, что сестра Евангелина даже как-то раз специально ждала его у фарфорового завода, чтобы сказать об этом. Так и случилось. Пусть даже Антуанетта говорила, что у меня гибкая спина и выворотные бедра, пусть порой я танцевала какие-то свои танцы, когда снизу доносились звуки скрипки, мы обе знали, как твердо отцовское слово. Антуанетта следила за крошкой Шарлоттой, вытягивавшей ногу в арабеске, а потом поднимающей ее высоко над полом. Антуанетта поправляла ее и указывала:

— Руку мягче. Колени выпрями. Тяни шею. Вот так. У тебя шея как у Тальони, детка.

На именины Антуанетты, когда ей исполнилось восемь, папа принес в рукаве фигурку Марии Тальони — босой, с крыльями бабочки за спиной, поднявшей одну ножку над землей. Почти пятьдесят лет назад она завоевала сердца всех парижан, станцевав «Сильфиду», и легенда о ней все еще жила. Антуанетта десятки раз поцеловала статуэтку и поставила ее на каминную полку, чтобы ею любоваться. Теперь рядом со старыми часами маман поселился эльф. Но потом Антуанетта провалила экзамен, после которого ее могли бы перевести из второй линии кордебалета в первую, а потом и вовсе выгнали из балетной школы за спор с танцмейстером месье Плюком.

— Это все твой поганый язык, — ворчала маман.

— Я только сказала, что могу сделать больше фуэте-ан-турнан, чем Мартина, и что ноги у меня лучше, чем у Кароль.

Я представила, как она стоит скрестив руки на груди и надменно смотрит на собеседника.

— А он заявил мне, что я тощая уродина.

На следующий день фигурка исчезла с каминной полки — может быть, она отправилась к старьевщику или разбилась о брусчатку.

Узнав, что маман хочет отправить нас в балетную школу, Шарлотта стискивает пальцы так, что костяшки белеют. Она пытается сдержать радость. Я стою спокойно, пряча тревогу.

Их называют крысками. Тщедушных, полных надежд девочек, мечтающих о самых быстрых ногах, самом легком прыжке, самых красивых руках. Они совсем дети, как Шарлотта, некоторым едва исполнилось шесть. У меня внутри все сжимается, когда я думаю, что в свои тринадцать окажусь у станка рядом с ними. Они получили свое прозвище за то, что топчут по коридорам Оперы, — грязные, голодные, вынюхивающие, где бы урвать хоть крошку еды.

Антуанетта успокаивающе кладет ладонь на плечо Шарлотты. Ловит мой взгляд и чуть-чуть кивает мне, прося подождать. Она еще не закончила разговор с маман.

— Старый Плюк не возьмет Мари.

— Это ему решать.

— Она уже слишком взрослая.

— Нагонит. Скажи, что она умная. — Голос у нее резкий и презрительный. Она знает, что я очень горжусь тем, что сестра Евангелина ждала папу у ворот завода.

— Я ее не поведу.

Маман вытягивается во весь рост, но все равно остается ниже Антуанетты на добрых три дюйма. Шипит ей в лицо.

— Сделаешь, как сказано.

Утром я обычно сижу за маленьким столиком и декламирую отрывки из катехизиса или молитву о прощении, или читаю историю Жанны д'Арк, или пишу десять заповедей на память, или списываю с классной доски столбики цифр, которые нужно сложить друг с другом. Иногда я поднимаю глаза и вижу, как уголки губ сестры Евангелины изгибаются в улыбке, и чувствую тепло от горящей лампы. Однако, как только папа слег, я начала сомневаться, так ли уж нужно тратить эти часы в классной комнате. Ведь я могла бы в это время зарабатывать на жизнь.

Сестра Евангелина говорит, что я еще не закончила свое религиозное образование. Ей не нравится, как я прикасаюсь к петлям на крышке стола или к ключу в кармане, когда меня вызывают отвечать, надеясь, что железо приносит удачу. Она говорит, что я не выучила ни одного гимна. Но как я могла их выучить, если у меня нет ни одной приличной юбки, чтобы сходить на мессу в церковь Сент-Трините? Она потратила много часов, чтобы подготовить меня к первому причастию, но мне пришлось позаимствовать наряд у мальчишки-алтарника, тогда как все остальные девочки были одеты в кружевные платья, а потом облатка, которая якобы была плотью Христовой, оказалась сухим хлебом. Не могу сказать, что я почувствовала истинную благодать Божию. Но я все равно знаю на память и Символ веры, и «Отче наш», и «Аве Мария», и Славословие.

Что касается всего остального, что я должна выучить в школе, я и так уже могу сосчитать цену кочана капусты и двух луковиц быстрее зеленщика и сказать, сколько мне причитается сдачи. Могу написать, что мне в голову придет, и прочитать в газете все,

что меня интересует. Спроси я сестру Евангелину, зачем мне учиться дальше и может ли вся арифметика в мире прокормить одну девушку, я бы получила ответ, который и так уже знаю. Ее ответ не изменится оттого, что у меня нет отца, что моя мать вечно нащупывает бутылку в кармане, что ни один лавочник не хотел бы, чтобы его покупателей приветствовала девица с таким лицом, как у меня, что я живу на самом верхнем этаже пансиона на рю де Дуэ, куда ведет винтовая лестница, такая узкая, что я задеваю стены юбками, что двор дома так мал, что туда не проникает даже лучик солнца, что я выросла на склонах Монмартра, в бурлящем котле буржуа и бедняков, рабочих и ремесленников, художников и натурщиц, в районе, знаменитом своими кабаре и танцевальными залами, а еще девицами, готовыми задрать юбку ради куска хлеба и чашки бульона для младенца, который орет дома. Что бы ответила сестра Евангелина?

— Ну, — сказала бы она, морща гладкий лоб и неубедительно поджимая губы, — никогда не знаешь, что тебе пригодится.

Маман хмурится, как и вчера, когда она заорала, а Антуанетта плюнула ей на туфлю. Тогда маман ударила Антуанетту раз и другой, а та в ответ только засмеялась. Маман круглолицая и коренастая, руки у нее крепкие, как у мужчины, а Антуанетта узкобедрая и костлявая, с пальцами как веточки. И она только пошире расставляет ноги, готовясь к удару.

Может ли так случиться, что меня возьмут в балетную школу, а однажды даже выпустят на сцену Оперы? Может быть, директриса обрадуется, увидев не малолетку, а девушку, способную вытереть себе нос и заплести волосы? Если даже она жестока, если

девочки будут смеяться, когда я не смогу сделать несколько деми-тур подряд... сестра Евангелина говорит, что я упорная как мул и что я быстро схватываю новое. К тому же нужно помнить и о семидесяти франках. Можно пойти на ткацкую фабрику и заработать половину от этого или стать прачкой и иметь почти столько же, но при этом работать по двенадцать часов в день шесть дней в неделю, и то, если инспектор сделает вид, будто мне уже четырнадцать.

Может быть, завтра жена накормит месье Плюка его любимым завтраком и завяжет ему галстук чуть нежнее, чем обычно, и он поднимется по ступеням Оперы в добром расположении духа. Может быть, несколько бриошей впишут мое имя в список учениц балетной школы, вытащат меня из канавы, дадут мне тень надежды.

— Я пойду, — говорю я, сжимая кулаки.

Натянутые жилы на шее Антуанетты расслабляются. Маман плюхается на жесткий стул.

23 мая 1878 года

ПРЕСТУПНЫЙ ЧЕЛОВЕК

Изучая преступников, итальянский криминолог Чезаре Ломброзо обнаружил, что им присущи определенные анатомические черты. Среди характерных для преступников особенностей лица можно назвать выступающий вперед подбородок, широкие скулы, низкий лоб и черные густые волосы. Все эти черты свойственны доисторическим людям и обезьянам, поэтому Ломброзо утверждает, что самые гнусные из современных преступников представляют собой своего рода атавизм, возврат к дикой и кровожадной изначальной человеческой породе. Он указывает, что ученым хорошо известны многочисленные случаи повторения одних и тех же болезней и особенностей в одном роду. Исследования уважаемых французских антропологов подтверждают его выводы.

Доктор Артур Бордые измерил черепа тридцати шести убийц, позаимствованные в музее в Кане, и обнаружил, что по двум ключевым измерениям они похожи на черепа представителей примитивных племен. Лбы убийц оказались низкими. Этот результат был ожидаем, учитывая связь лобной доли головного мозга с интеллектом. Затылочные части черепов с долями, отвечающими за действие, были увеличены. Бордые заключает,

что мозг, более склонный к действию, чем к мышлению, объединяет современного преступника с первобытным дикарем. Это открытие подтверждает работа доктора Луи Делавасье, который измерил головы двух сотен заключенных тюрьмы ла Рокетт и обнаружил схожее строение черепа почти у половины преступников.

Судя по всему, французские антропологи и Ломброзо солидарны друг с другом. Типичный преступник по-дикарски уродлив. *Monstrum in fronte, monstrum in animo*¹.

¹ Уродлив снаружи, уродлив в душе (*лат.*).

Антуанетта

Тусклый утренний свет пробивается в окно убогой комнаты, падает на тюфяки в углу. Мари все еще лежит свернувшись, рядом с Шарлоттой, на нашем общем с сестрами спальном месте. Второй тюфяк пуст. Маман уже ушла к горам белья, ожидающим ее в прачечной. Я щиплю Мари за щеку, она бьет меня по руке.

— Вставай, лентяйка, — говорю я. — Чудеса иногда случаются. Маман оставила нам целую буханку, а я раздобыла яиц.

Мари открывает один глаз.

— Да ладно?

Я достаю из кармана два теплых яйца и тыкаю ей в лицо. Она трогает скорлупу и переворачивается на спину. В голове у этой девчонки беспорядок, и она уже не помнит вчерашние планы. Что острый взгляд старого Плюка должен будет изучить ее кости еще до полудня.

Шарлотта натягивает комковатое одеяло на голову, недовольная, как императрица фрейлиной, которая посмела нарушить ее покой. Я дергаю одеяло, и она ворчит:

— Отстань. Отстань, а то...